

Александр Левитов

Всеядные



Александр Иванович Левитов

Всеядные

«Нынешним летом Петра Петровича Беспокойного, по природе человека крайне нервного, а по ремеслу, как стали недавно говорить, литературщина, его всегдашний враг – желчь – разукрасила какими-то особенно болезненными, иссиня-желтыми красками. В то же время он заметил, что вместо печени у него имеется грецкая губка, обильно налитая разнообразными препаратами, производящими постоянную тошноту и головокружения, доходившие до обмороков...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0020
III.....	.0040
IV.....	.0057
V.....	.0069

Александр Иванович Левитов
Всеядные
*(Картины подмосковной
дачной жизни) [1]*

Нынешним летом Петра Петровича Беспойного, по природе человека крайне нервного, а по ремеслу, как стали недавно говорить, литературщина, его всегдашний враг – желчь – разукрасила какими-то особенно болезненными, иссиня-желтыми красками. В то же время он заметил, что вместо печени у него имеется грецкая губка, обильно напитанная разнообразными препаратами, производящими постоянную тошноту и головокружения, доходившие до обмороков.

Приняв все это в должное внимание, а также и свой вечный кашель – результат застарелого желудочного катара, Петр Петрович задумал месяца два прожить где-нибудь «под сенью струй»[2], рассчитывая, что если сельская природа и не излечит его многочисленных недугов, то хоть, по крайней мере, он не будет надоедать нумерным соседям своим непрерывным кашлем.

Задумано – сделано. Один приятель Петра Петровича, шустрый такой, хотя еще и не знаменитый, художник в синих очках, живо ста-

щил его в одну подмосковную деревеньку, где он во время своих тасканий за эффектными типами и ландшафтами приобрел себе куму. Кроме заманчивой кумы, которая, по словам художника, была не какая-нибудь деревенская буйволица, а женщина в полном смысле – *комильфо*, в деревеньке имелись – железистый пруд, чудодейственные воды которого неоднократно воскрешали мертвых, и березовая роща, где Петр Петрович, по уверениям своего художественного друга, мог без малейшей помехи каждый день писать по пяти самых лучших романов и, кроме того, огребать чертовы кучи всяких грибов первейшего сорта.

И вот, в силу обольщений, находившихся в распоряжении подмосковной деревеньки, мы «одним прекрасным вечером» видим Беспкойного сидящим на завалине одной из ее изб. Перед ним стоял самовар, который в лад с тишиной довольно уже позднего вечера напевал какие-то тихие, исполненные меланхолии песни. Почти у самых ног Беспкойного расстилался светлый пруд, густо поросший осокой и болотными лилиями, а за прудом, в

задумчивом молчании, стояла молодая березовая роща, насквозь пронизанная золотым сиянием месяца. После вечно и безалаберно горланящей суеты большого города больному, измученному ею человеку как-то особенно покойно сиделось без шапки под этим синим небом, усеянным звездами; вокруг него летала ласковая вечерняя прохлада, обдувая его воспаленную голову и возбуждая усталое сердце острым запахом растительности, налетавшим на село с дальних полей.

Это был первый день или, лучше сказать, первый вечер, который Петр Петрович проводил в деревне. Ему было хорошо, и он осязательно чувствовал, как отдыхает и крепнет его изболелый организм. Он ничуть не интересовался в настоящую спокойную минуту теми так тесно связанными с жизнью в большом городе заботами, которые не далее трех-четырёх часов тому назад так деспотически владели им. Прямо пред глазами Беспкойного, отделенный от деревни небольшим оврагом, стоял большой помещичий дом, светившийся тем таинственным, располагающим к полнейшему бездумью полусветом, который

делают лампы, закрытые разноцветными абажурами. Из дома неслись могучие звуки дорогого рояля, певшие что-то классическое, строгое, напоминавшее Беспкойному музыку, которою дорогие люди, теперь давно уже умершие, ласкали его детство, – и в то же время совершенно противоположное тем так называемым *легким* мотивам, которые должно было выслушивать во время приближающейся старости его больное одиночество. Он напряженно слушал эту строгую музыку: без его ведома в голове его пролетали какие-то смутные, тревожившие мысли о том, что эти стройные звуки, некогда столь знакомые ему, отнесены текущим временем к «области преданий» и что их место заменили теперь другие звуки, весело зовущие человечество на веселый канкан. Апатичными взмахами рук Беспкойный отпугивал от себя эти думы вместе с комарами, назойливо облеплявшими его лицо, и во все глаза смотрел на звезды, дрожавшие в пруде, на месячные лучи, скользившие по роце расплавленным золотом... Видимо было, что картина эта нравилась ему: он сидел, углубленный в немое созерцание ее

красоты, и думал, думал...

Роман, для окончательной отделки которого, помимо излечения от всяких болезней, Беспокойный приехал в подмосковную деревеньку, приходил в его мыслях к концу. В нем такое же мирное небо с светлыми звездами, такой же тихий пруд, такой же безмолвный полуосвященный дом, – и вот бедный, больной человек, ободренный великою силой природы, помещает в ее величавое, светлое царство мужчину и женщину.

Страстно всматривается Беспокойный в разнообразные, придуманные им фазисы, в которых волею его возбужденной мысли должна вращаться созданная им пара. Вывел он ее на такой широкий простор, который расстилался шире этих лугов неоглядных, который был светлее звезд небесных и покойнее беспробудно спавшей рощи, в которой не шевелился ни один листок.

Увенчанная цветами и провожаемая гармоничными созвучиями сочиненного Беспокойным простора, блаженно проходит его пара свой жизненный путь, – и Беспокойный радужно улыбается созерцаемому им блажен-

ству, нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что его кашель, перелетая через пруд в рощу, гремел в ней учащенным батальным огнем, распугивая приютившихся там на ночь галок и ворон.

Такое молчаливое поведение Петра Петровича и ничем не объяснимая улыбка, во весь вечер не сходявшая с его губ, ввергли в большое недоумение его дачную хозяйку – куму художника. Все ее светскости были крайне манкированы этим кашляющим и улыбающимся человеком. Прошедши огонь и воды в шатаниях по разным именитым господам в качестве воспитанницы, крестной дочери, любовницы, горничной и, наконец, белой кухарки, она справедливо рассчитывала на большее внимание со стороны жильца, тем более что кум-художник на прощанье шепнул ей про Петра Петровича, что он – «ухо-парень, которому пальца в рот не клади».

И вот для того, чтоб должным образом показать себя уху-парню, для того, чтоб отнять у него всякую возможность к оттяпыванию чужих пальцев, кума облачилась в шерстяное платье, пришила к нему шикарное, так

много говорящее панье[3] и засела с жильцом за чай не только с полным сознанием безопасности собственного пальца, но даже с твердою уверенностью в самом непродолжительном времени если не совсем отхватить голову у неприглядного господина, так, по крайней мере, взбаламутить ее...

И действительно, кум-художник и его многочисленные друзья, часто посещавшие подмосковную деревеньку как для безмятежной на лоне природы выпивки, так равномерно и для сближения с народом, большею частью уезжали от кумы с отуманенными головами и облегченными кошельками. Ее несокрушимое убеждение в том, что она должна жить и кормиться на счет молодых, а за недостатком оных – и старых московских господ, всегда побивало фанаберию этих господ, упорно отрицавшую всякую возможность серьезного на них влияния со стороны какой-нибудь неумытой Химки или толстоногой Палашки.

Черные, слегка смазанные фиксатуаром брови кумы, ее белые полные щеки и широкий бюст, с настойчивою храбростью солдата стремившийся вперед, непременно обуздыва-

ли дерзкое самомнение москвичей и сводили их гордые думы относительно неумытой твердокожести Палашек и Химок на почву гуманности и равенства, которая умственными, так сказать, сохами текущего времени вся испахана вензелями, говорящими в назидание заносчивых людей о том, что они, наравне с людьми приниженными, происходят от одного праотца – Адама. Мало этого: при благодетельном содействии счастливых отметин, которыми природа так щедро разукрасила куму, а равно вооруженная врожденною юркостью, значительно изошренною в кухнях ее именитых покровителей, она оказывалась несравненно сильнее московских кумовьев, посещавших ее. Не они удивляли ее, деревенскую женщину, чудесами цивилизации, выработанными столицей, а она, напротив, пригибала их к подножию своих сельских пенатов и заставляла приносить им обильные жертвы – путем бойких, политичных разговоров, уменья расположить городских, большею частью сдерживающихся людей к беспрепетному опоражниванью бутылок и, наконец, наделенная способностью после крепко-

го пьянства с слабонервными *господишками* превращаться в еще более удалую плясунью и голосистую песенницу, – кума обдeldывала своих гостей, как она говаривала, за первый сорт. Опивая и обедая их сама, она в то же время наталкивала и соседей своих на всяческое горожан опивание и обирание, справедливо рассуждая, что и соседская денежка не щербата, что горожанин завсегда из пустого может денежку вышибить, а мужик такого фокуса выкинуть не в силах покуда...

И вот, вследствие всех этих вещей, словно бы намагнетизированные этим панье разбитной женщины, ее московские гости, как телята, тянулись за нею по сельским хоровам, где телята эти в одно и то же время и изучали якобы мотивы отечественных песен, и знакомились с типами сельских красавиц, поливая красоту их, для успешнейшего ее процветания, водкой, настоянной на мухах, и «народным пивом», этим прекрасным суррогатом, так успешно приучающим народные массы к доброй нравственности и к усвоению ими различных полезных ремесл и мастерств...

Умела также кума, предварительно вошед-

ши в плутовскую сделку с кабатчиком, затащить дурашливых горожан в вонючий сельский кабаk, который в их пьяных глазах получал тогда поучительное значение народного клуба, – и во всех этих, по словам кумы, приятных местах горожане должны были, большею частью против своей воли, до одури пить водку, швырять целыми горстями деньги каким-то сиротам, сплошь залепленным как бы библейскою проказой, – каким-то благочестиво и слезно крестившимся вдовам с багровыми желваками вместо глаз и, наконец, целоваться с свирепыми пучеглазыми мужиками, большая часть которых, находясь многие годы под влиянием белой горячки, горланили песни и разговоры, отличавшиеся толковостью сумасшедших домов.

Несмотря на пятичасовое пребывание Беспокойного на даче кумы, она никак не могла заставить его проделать хоть одну, самую маленькую штучку из числа сейчас описанных. Литературщин, ничуть не примечая направляемых на него обольщений, по-прежнему громко кашлял и, улыбаясь, молчаливо вышивал канву своего романа такими же при-

хотливыми узорами, как прихотливы были те беспрестанно изменявшиеся слияния месячного и звездного света с синими тенями ночи, которые тихо скользили по поверхности пруда, летали по вершинам сонных деревьев и, как будто отыскивая что-то, ползали по низкой росистой траве.

Такое упорное невнимание со стороны Беспокойного страшно злило куму. В глубине души своей она назвала его дохлым и полоумным чертом и наконец клятвенно обещалась показать ему со временем здоровую коку с соком...

Тем и кончился этот вечер для моих так случайно сошедшихся героев, навеяв на них, несмотря на свое почти непрерывное безмолвие, совершенно разнородные вещи: Беспокойный уходил спать с какими-то тихими думами о красоте сельской природы, давно уже не виданной им... Ему смутно представлялось, что вот именно здесь где-то, недалеко от него, под рукою как бы или около ушей, разнеживая организм, журчит тот сказочный источник живой воды, в который больному человеку стоит только окунуть голову – и он

выйдет из него с новой силой и новой мыслью...

Бесчисленное множество видений, таких же нежных и неуловимо быстро промелькивавших, как были быстры и нежны катившиеся по вечерней синеве неба звездные метеоры, промелькнуло перед Беспокойным в то время, когда кума, сердито громыхая чайным прибором, ругательски ругала своего паскудника кума, шустрого художника в синих очках, который удружил ей рекомендацией такого захирелого шута.

– Живут же на белом свете эдакие дьяволы! – говорила кума, молясь на сон грядущий и стараясь в то же время оплеушинами усмирить крики своего ребенка, страдавшего чудовищною золотухой. – Водятся же такие идо­лы! Вина не жрет... Господи! Да что же это? – Затем следовал окрик, направленный к боль­ному ребенку: – Да когда же ты угомонишься, змей огненный! Али я на тебя, в самом деле, на змееныша, управы никакой не найду? Дрыхни!.. Девоч позвала... песнями его разве­селить, – отогнать велел. «Девки ваши, гово­рит, брюхами песни играют, а не голосом...»

Ну, погоди, богомаз проклятый, – я тебе покажу, как таких жильцов на фатеру ко мне привозить!..

В это время с недалекой от подмосковной деревеньки церкви раздался протяжный колокольный звон. Заснувшие окрестности, как бы пораженные сильным ударом, испугались его и дрогнули. И нельзя им было не ужаснуться и не дрогнуть от этого звона, так как он служит знаком нашествия на землю угрюмо молчащей полночи, вместе с которой, по вере глухих деревень, к беспечным изголовьям людским слетаются нечистые духи, всячески обольщающие как дурные, так и хорошие инстинкты всего, что ползает в серой пыли земной и парит в высях голубого неба.

Вследствие этой странной особенности сельской полночи Беспокойный до самого утра прогрел никогда и нигде прежде не виданными им людьми. Озаренные ничем не смущаемою радостью, они не пресмыкались более по жалкой земле, а реяли в каких-то светлых, цветочных пространствах между нею и небом, возносясь по воле своей даже к огненным звездам. При этом Беспокойный в

качестве человека, всецело отдавшегося всяческим анализам и изучениям, в первый раз в эту ночь имел счастье заметить, что огонь тех звезд не только не палил дерзких людей, приближавшихся к нему, а, напротив, проясняя их еще больше, уносил еще дальше куда-то и потом, ежели они желали, снова приносил их на своих лучезарных крыльях на землю, радовавшуюся их возвращению...

И куме тоже подрадели искушающие духи полночи. Она, в свою очередь, видела во сне, как ее смиренный постоялец, сидя с нею в кабаке, играл будто бы на гармонике так разухабисто, как она ни от одного кучера еще не слыхивала. Он дарил ее ситцевыми и шерстяными материями, целыми штофами покупал ей сладкую рябиновую водку, с молодецким посвистом и гарканьем куражился над нею:

– А-а, толстопятая! Ты вчера подумала про меня, что я – нюня... Ха-ха-ха!.. Ты подумала, что мы такой бабенки уж и оплеть не в силах... так, что ль – а? Ха-ха-ха!.. Пей-ка вот да получай от нас на постройку избы сотенный билет. У нас денег-от побольше будет, чем у

твоего кума художника. Пущай у него на носу синие очки вздеты...

И при этих словах не только из карманов, а даже из носа, рта и ушей сыпал смиренный постоялец на свою дачную хозяйку целые кучи разноцветных ассигнаций и звонкой серебряной мелочи. И вероятно, что и по настоящее время Беспокойный, попавший по милости прихотливой сельской полночи в такие беспардонные кутилы, продолжал бы снабжать куму разным добрищем, ежели бы игривый дух полночи, раздразивший ее таким милым сном, с большим испугом не улетел куда-то от ее подушки, испугавшись крестного знамения, которым глупая женщина имела неосторожность осенить себя в благодарность за благодать, так неожиданно ее посетившую...

Наступившее утро прогнало духов сельской полночи с их соблазнительными чарами. Самые первые шаги этого утра были чутко слышаны Беспокойным, который вследствие болезни и городских привычек никогда не вставал в Москве ранее десяти часов утра. Он с давно не испытанным наслаждением прислушивался к этим тихим, ароматным шагам, которыми сельская летняя ночь уходит куда-то, давая после себя место все более и более с каждой минутой разрастающимся светлым волнам дневным.

Немного времени спал в эту ночь Петр Петрович, но чувствовал себя почему-то совершенно свежим. Его сначала разбудил тихий прохладный ветер, от которого глухо зашуршала соломенная крыша, и вместе с тем от этого же ветра будто бы покачнулась и разредела густая тьма, наполнявшая комнату. В этой, значительно разреженной тьме тревожно заметались и зашевелились теперь миллионы каких-то маленьких фосфорически светившихся точек, которые, наподобие распу-

ганных птичек, с необыкновенною стремительностью разлетались из избы и, бесследно исчезая где-то, заменялись другими точками, такими же маленькими и блуждающими, но уже отмеченными другим характером: их серовато-прозрачные, напоминавшие собою паутину или дорогое старинное кружево массы ясно говорили, что из громадного прилива этих масс на земле получится вечно чарующая людей красота летнего дня с светлым солнцем и голубым небом.

В густом кустарнике палисадника, который с лицевой стороны окаймлял собою приют Беспкойного, быстро порхала какая-то пташка и весело посвистывала. Давным-давно переставший удивляться чему-либо Петр Петрович слушал теперь этот свист с большим удивлением: птичка тоненьким таким голоском, по-человечески, членораздельно, скороговоркой, щебетала ему: «Встанешь ты, что ли?»

Весело показалось Беспкойному от этого так приветливо и настойчиво повторявшегося птичьего вопроса. Он самодовольно улыбнулся, так неожиданно заслышав голосок, об-

ращенный как будто к его одиночеству, и, забывши про зловредное влияние на его недуги разнообразных сквозных ветров, отворил окно.

Величавая панорама раннего сельского утра, сверкнувшая в узком оконце, ошеломила человека, изболевшего от смертельного городского горя. Петр Петрович долго не мог понять живящей силы ослепившей его картины: бесцельно вглядываясь в ее мощные штрихи, состоявшие из синих летучих туманов, дымившихся над прудом, блестящие в выси рассветающего неба темной зеленью леса, – он видел не эти штрихи, а с каким-то особенно глубоким, болезненным страданьем припоминал городские картины, на которые он смотрел целые пятнадцать лет и которые непонятным для него образом сделали из него больного до полнейшего бессилия человека.

Бессознательно предоставив свою хрипящую грудь тихим налетам полевого ветра, Беспкойный припоминал свою многолетнюю жизнь по этим «широкошумным» городам, где людские пульсы обязаны биться с та-

кою тревожною быстротой. Он вспоминал эти буйные, никогда не смолкающие меблированные комнаты больших городов с их пустынною затхлостью и беспощадным обдираньем, с их убого цыганской обстановкой, с своим собственным чисто рыцарским отношением ко всему этому безобразию, тяжело-му и пугающему, как горячечные сновидения, – и думал: «Зачем же я жил там?»

А между тем бойкая маленькая птичка, засевшая в кустах палисадника, продолжала щебетать в уши одинокого человека свою прежнюю ласковую скороговорку:

«Ты спишь, что ли? Скоро встанешь, что ли?»

Но и этот вопрос, показавшийся Беспокойному сначала столь милым, не мог отвлечь его от его воспоминаний. Вот ему видится его номер в каком-то сумрачно каменном городе, весь заваленный книгами, газетами, справками, выписками, корреспонденциями и т. п. Все это покрыто толстыми слоями сероватой, наводящей тоску пыли, и на всем на этом навалены окурки папирос, сигар и свечные огарки.

И себя припомнил Беспокойный в этом же номере. Он тоже был весь в пыли, в каком-то несчищаемом песочном наносе, необъяснимо и досадливо налетавшем в окна его жилья; он берет с пыльных этажерок, с пыльных окон и столов такие же пыльные книги и старается добиться от них чистой правды... Для этого только он и живет в слепящем глаза и разбивающем грудь песочном наносе...

Вот слышится ему фатальный стук в дверь и не менее фатальный вопрос:

– Можно войти?

– Пожалуйста! – слышит Беспокойный свой собственный голос, как бы умаливающий кого-то там, за дверью, чтоб этот кто-то вошел к нему и хоть на минуту выхватил бы его из злых челюстей той сокрушающей, гнетущей тоски, которая всецело легла на его книги, газеты, рукописи и, наконец, на его чистые стремления отыскать чистую правду.

Увы! не находится за дверью такого человека. Там стоит сердитый служитель с щипящим самоваром и гневно шепчет:

– Самовар-с! Вот-с!..

– Да я не просил у вас самовара! – гневно

тоже шепчет Беспокойный. – Отчего вы пыли у меня никогда не сметаете?

Еще большие гнев и недовольство пролетают в это время по невыспавшемуся лицу служителя меблированных комнат. С громом и дребезжаньем чайной посуды поставив на стол непрощеный самовар, он угрюмо отвечает:

– Што ж пыль? Ведь вы сами же не велите ее убрать!.. Булку ежели надо, так сбегая, пока рано еще. Нам тоже другим жильцам услужить надо. Вон у нас два генерала живут... А пыль, известно, когда ежели свободное время...

Манкируя опротивевшим самоваром, Беспокойный усаживается за письменный стол, чтобы, по своему вечному обыкновению, устремиться в отыскивание желаемой правды в этих бесчисленных фолиантах. И вот всецело окружала его тогда книжная правда, вместе с этою царящей в больших, плохо охраняемых библиотеках плесенью, – и не обратил бы наш труженик никакого внимания на эту плесень, если бы к ее заразительной духовитости не присоединялись безалабер-

ные голоса нумерных соседей, гремевшие на разные раздражающие больные нервы тоны:

– С-стуч-чу! – как и во всю предшествовавшую ночь, раздавался в соседнем апартаменте уже в десятом часу утра чей-то мощный бас, громяхая кулаком по столу.

– Бенефису три целкача желаешь? – спрашивают у баса.

– Што же водки мне не несут, дьяв-вол вас всех заberi! – ругается одичалый голос, принадлежащий какому-то несчастному приезжому, уже несколько недель одержимому злою белой горячкой.

– А мы вчера из Стрельны в шесть часов приплыли, – продолжают обмениваться новостями мебелированные комнаты. – В грязи все, как агаряне[4] какие! Стыдно было на улицу глазом вскинуть. Што ж ты? – пей, поправляйся!..

– А мы так просто-напросто в части ночевали... Непонятно даже... Никогда у меня еще так не отбивало ума... Спасибо, офицер хороший попался, – познакомились; смеется: «Ну и ступайте теперь на все четыре, а то беда мне с этими протоколами... Были вы, говорит,

вчерашнего числа в состоянии невменяемости... Поблагодарите вот унтер-офицера Ефремова, – он вас с тротуара в полнейшем бесчувствии поднял...»

– Кр-раул-л! – глухо раздается новый голос с конца коридора, противоположного номеру Беспокойного. – Убить хочет... Батюшки! заступитесь...

Спешными шагами пробегал в это время по коридору вечно кашлявший и плевавший хозяин меблированных комнат, в сопровождении своего встревоженного штаба, у которого он суетливо спрашивал:

– Актер опять забунтовал, а?

– Они-с, – отвечал штаб.

– Приехали, что ли, какие к нему?

– Так точно-с! Две Пирсоны... из женского полу-с... Всю ночь мирно было-с: песни пели, комедии читали. Теперича же господин артист напускает на них самих себя с кинжалом. В одной руке стакан с водкой, а в другой кин-жал-с. Кричит: «Пей под ножом Прокопа Ляпунова[5]!» Конечно, што госпожи теперича безо всяких понятий на полу у господина артиста валяются, а они-с всячески стараются

В них еще водки влить-с...

Торопливые хозяйские шаги замирали наконец в нескончаемом коридоре, а Беспokoйный усиленно принимался глотать разнообразные лекарства и в чахоточном бешенстве разбрасывать по своему пыльному номеру те пыльные книги, которыми он было окружил себя...

Ничего подобного не было в деревенской летней картине, мирно распростершейся в настоящую минуту перед глазами Беспokoйного. Он думал: «Вот где работать!..»

Только в этой благодатной тишине можно собирать доброе, чистое знание. Скорей за работу!..»

С этими словами Петр Петрович живо устремился к рукописи, еще вчера приготовленной на письменном столе, и с необычайной быстротой принялся чертить по ней. В силу русской поговорки – «скоро сказывается, да не скоро дело делается», здесь нельзя отчетливо уяснить, долго ли, коротко ли бегало перо «литературщика» по терпеливой бумаге, – и только благодаря сообщениям шустрого художника в синих очках я знаю, что руко-

пись Беспкойного послушно приняла тогда на свои страницы все разнообразные звуки и краски этого утра.

И действительно, когда шустрый художник читал мне эти страницы, я воочию видел, как на них сверкали нежно-розовые лучи загоравшегося на дальнем востоке солнца; от них пахло ароматом полей, пруда и леса; широкими сенокосными лугами, sprыснутыми серебристыми росными перлами, казались мне эти маленькие странички, – и слышались мне в их шуршании задорные крики неуловимых дергачей и звонкие трели высокополетных жаворонков.

Видел я также, как по этим страничкам прошло на далекое пастбище сельское стадо и как вообще все они были изрисованы пестрыми знаками тех глубоко трогательных звуков, из которых слагается дивная музыка раннего сельского утра...

Солнце стояло довольно высоко, так что не только рано встающие дачники, но и дачницы даже успели уже выкупаться и сидели за чаем в тени палисадников, а Беспкойный, наподобие пиявки присосавшись к своей ру-

кописи, все еще от нее не отваливался. Он и не отвалился бы от нее собственнолично, по крайней мере, до тех пор, пока не закашлялся до крови или не захотел есть, если бы внимание его не было нарушено деликатным скрипом отворявшейся двери. Обернувшись по направлению к этому скрипу, Беспокойный увидел пред собою белокурую, деликатно ослабленную личность в розовой ситцевой рубашке, плисовых штанах и в мелких резиновых калошах на босую ногу.

Улыбнувшись с почтительною приятностью, личность заговорила:

– Щиблеты ваши, сударь, отчищены вроде бы, например, зеркала. Ну только, прикажите доложить: ежели в случае купаться намерены, так роса-с еще не обсохши-с.

Надоть будет вам длинные сапожки обуťс, по-русскому-с... вроде будто бы на купецкий манер-с... Ежели имеются у вас длинные сапожки, так я их маслицем сейчас деревяненьким-с...

– Не хожу я купаться, – болен! – ответил Беспокойный, видимо симпатизируя человеку, так охотно предлагавшему ему свои услу-

ги.

На физиономии приятной личности при этих словах изобразилась неподдельная тревога и даже как бы глубокое сожаление. Отступивши в испуге к двери и сделавши трагический жест руками, она произнесла с серьезной наставительностью:

– Ка-ак, судырь? При вашей образованности – и, например, без купанья? Да у нас пруд... Б-боже мой! В нем всякие грязи-с... Доктор Буеракин нарочно к нам из Москвы купаться приезжают и пруд чистить не приказывают. Большие деньги нашему миру за это платят-с. Поживете, так сами ихнюю милость увидите: туша тушей-с! «Все это, говорят, от вашей воды, ребята...» Сначала первым делом оглашат они в кабаке полуштоф перцовки, потом в пруд, потом опять в кабак... По целым неделям так-то они у нас себя прохлаждают-с...

Беспокойный безучастно слушал бушевание словесного потока, обрушившегося на него. Ему крайне желалось остаться наедине с своей так неожиданно прерванной работой и с бодрившим его утром; но присушая ему

застенчивость останавливала его даже хоть отчасти посократить словоохотливое усердие деликатной личности, которая между тем, узнав птицу по полету, продолжала рассыпаться перед Петром Петровичем:

– Тоже вот парное молоко-с... оч-чень даже большую помощь больным господам оказывает. Прикажете парного молочка или, может, из погреба, со льду-с? У нас всякое есть-с!

– Нет, благодарю вас! Я подожду, пока хозяйка встанет, тогда она мне самовар подаст.

– Па-ам-милуйте! – заволновалась деликатная личность. – Чево же хозяйки вам дожидаться? Самоварчик у меня для вашей чести давно изготовлен. Хозяйка мне с вечера еще наказывала: «Ты, говорит, за барином все равно как за дитей ухаживай, потому, говорит, этот самый барин очень наградист... ни ас-ставит, бог даст...»

Беспокойный, пропустив мимо ушей этот тонкий намек на его толстые добродетели, полюбопытствовал, в свою очередь, осведомиться у деликатной личности, «кто же, дескать, они сами будут?»

– А мы, сударь, в настоящее время будем –

Постелишников-с! – развязно и обязательно отрекомендовался услужливый человек. – Постелишников-с, Увар Семенов-с! – выразительно повторил он. – Служим по трактирной части, по нумерной-с, по питейной такожде. Не жалеем хорошим господам, по силе-мочи, услугу сделать...

– Что же, вы родственник хозяйке?

Постелишников улыбнулся при этом вопросе какую-то, так сказать, тоскливо мятущуюся улыбкой и, конфузливо переступивши с ноги на ногу, как бы исповедуясь, проговорил с тихим и сокрушенным вздохом:

– Как же, судырь, не родственники? Исстари родные-с! Они нам тетенька, а мы при них дяденькой состоим-с... хе-хе-хе! Окромья того, судырь, муж ихний – человек, так надо сказать, што безо всякой правильности-с, и притом же который уж год по чужим сторонам в кучерах ходит-с. Ну а мы все же как будто по-благороднее кучера-то. Ну да, кажись, понимаете сами наше мужичье житье довольно хорошо, – толковать вам много про него нечево... Эхма!

Увар Семеныч, соткровенничавши таким

образом, даже рукой махнул, как будто в каком безнадежном горе, – и Беспокойный оказался настолько практиком, понимающим «ихнее мужичье житье», что счел за нужное сначала, знаменательно крякнув, пробормотать что-то про молодость, про обстоятельства и, наконец, даже про надежду на бога...

Это неразборчивое и конфузливое бормотанье, к великому удовольствию Петра Петровича, так утешило Постелишникова, что с него вдруг как-то положительно соскочило все горе, примеченное в нем наблюдателем и аналитиком людских нравов в тот момент, когда ему сообщено было, что некто, который «в настоящее время будет Постелишников-с, Увар Семенов-с, состоит дяденькой при своей собственной тетеньке...».

– Дяденькой при тетеньке состою-с, а?.. Это необыкновенно хорошо! – с молчаливой и довольной улыбкой анализировал остроту Увара Семеныча Беспокойный, воспитанный на изумительных анекдотах о необыкновенной, самородной сметливости русского человека, о меткости и юморе его слововыражения и т. д. Он был в духе, – он, забывший было, что такое

смеялся теперь и, беззлобно пародируя Увара Семеныча, повторял: «Дяденькой при тетеньке состоим-с!.. А в настоящее время будем мы-с Постелишников-с!.. Чем же он будет в будущем времени, а?.. Ха-ха-ха!»

Эта веселость Петра Петровича, а равно и прихотливые солнечные краски, расцвечавшие угрюмую и прогнившую избу всякими светлыми радостями, усилились в несказанное количество раз, когда в избе этой на разные шумные лады заклокотал большой, ярко вычищенный самовар, с трактирным шиком внесенный и поставленный на стол Постелишниковым. С привычною живостью перетирая приборы переброшенным через плечо полотенцем, Увар Семеныч в одно и то же время обязательно и добродушно говорил барину:

– А чашечки эти самые, барин, я для компании вам принес, потому тетенька вчера еще говорила: «Мы, говорит, теперь с бариним все вообще будем чай кушать, потому мое дело – сиротское, а ихнее дело – одинокое-с...» И в самом деле, судырь, где ж вам со всей этой канителью возиться-с? А при те-

теньке вы найдите себе одно только: книжку читайте да чаек попивайте. Она же и стакан вам нальет, и бутинброт, например, сделает, и папи-росочку набьет. Ах, какую она к этим делам в графских и енаральских домах привычку взяла – страсть! Ни один лакей супротив нее не может потрафить хорошему господину-с... Многие господа и именитые купцы приезжали звать ее к себе в икономки-с, – ну, упрямится! «Я, говорит, от своего дома и от своих дитев никуда не пойду-с...» Ах! как она у нас, судырь, на этот счет очень благодарна-с!..

Эти конфиденциальности казались Беспкойному не только совершенно естественными, но даже просто-напросто обязывали его непременно идти в лад с бодрою выраженной в них задушевностью, – обязывали идти не иначе, как с самой искреннею благодарностью к этой задушевности, великодушно порешившей соединить за его чайным столом «свое сиротство с его барским одиночеством».

Утро между тем делало свое дело: оно до такой сильной степени иллюзировало пораженный организм Петра Петровича, что в ор-

ганизме этом почувствовались, если можно так выразиться, галлюцинации здоровья. Прилив их к внезапно забившемуся сердцу Беспокойного был так велик, что он всеми средствами старался для чего-то показать себя перед широкогрудым и широкоплечим Уваром Семенычем как можно более сильным; вытаскивая из сундука чайные препараты, он даже затянул было «Не белы-то в поле снежки», но, закашлявшись от непривычного дела, оборвал песню – и вдруг с непонятною для себя удалью спросил Увара Семеныча:

– Вы водку пьете?

– Как же нам, судырь, ее не потреблять-с? – переспросил, в свою очередь, Увар Семеныч, деликатно осклабившись и вдруг почему-то присмиревши. – Я, ежели признаться вам, ваше высокоблагородие, по душе, – заговорил он, смиренно растягивая слова, – так, когда еще вошедши к вам, хотел было попросить у вас на похмелье, н-но думаю, авось сами не оставят...

– И тетка пьет? – продолжал собирать справки Беспокойный, удаляя все больше и больше.

– Рябиновую-с... из горьких-с! – охотно удовлетворял его Увар Семеныч, все больше и больше молитвословя. – Оч-чинь даж-же обож-жают-с горькую рябиновую-с!..

– Так вот... – забормотал Петр Петрович, в суетливой задумчивости мечась по комнате, – конечно, ежели вместе... так оно, ведь... тут прямой интерес... разумеется... Возьмите там... получше... побольше... Я только но знаю там... как это... Впрочем...

Долго несчастный тянул бы таким образом свое бормотанье, страшно стыдясь своего неумения – определить сумму, за какую можно приобрести хорошей горько-рябиновой водки, получше и побольше, если бы это бормотанье не перебил предупредительный Постелишников ободряющим возгласом:

– Па-ан-нимаю, судырь! Вам, выходит дело, для запаса требуется... штобы, значит, про всяк час?.. Ка-а-нешна, ведром выгоднее... У нашего у кабатчика ведро стоит пять серебра, потому перевозка из Москвы-с... Это тоже, по нынешним временам, в расчет надо брать-с... Лошадь там... колеса... деготь... Зато и рябиновка только – р-рай!

– Так вот... Там как лучше... Распорядитесь... – снова забормотал Беспокойный, вручая своему утреннему другу довольно крупный кредитный билет. – Смотрите, как бы вас только... не обочли... Меня всегда так-то... Конечно, это случайность... Я не желаю никого... Ну, да там сами увидите... сообразите...

– Ка-анецна! – энергично замолился Увар Семеныч, с дрожанием рук принимая бумажку. – Как не сообразить!.. Аль мы махонькие? А касаяще, например, судырь, насчет вашего доклада об обчете, так у меня, кажись, допрежь того вся кровь скр-розь зубов... Д-да допрежь того... Б-боже мой! Д-да мы, ежели только он в мыслях подумает насчет обчету, так мы весь кабак-с у него по бревну разнесем-с... Слава богу, обыватели тоже-с... Под нами русская земля-то, – хе-хе-хе!

Светлый самовар дружно поддерживал задорные речи Постелишникова своим энергичным клокотанием. Поддерживали их и резвые белобрюхие ласточки, звеневшие в сеньях какие-то отрывистые серебряные песенки. Деревенские мальчишки и девчонки, сновавшие по улице, не уступали птичкам ни свежую звучностью голосишек, ни крайне смутным содержанием того, что желали выкрикнуть эти голосишки. Все это больше и больше раззадоривало Беспокойного: он бойкими шагами расхаживал по трясущемуся полу деревенской избы, с радостью и удивлением сознавая, что в сердце его нет уже более обычных – болезненного уныния и тоскливой апатии...

Окруженная неоглядную толпою обоего пола ребятишек и, кроме того, с своей собственной золотушною дочкой на руках, к Беспокойному вошла кума, с глубоким достоинством шурша шерстяным панье и блаженно сияя широким лицом, натертым румянами и карточным мелом. В шумливой стае этой го-

рожанин заметил еще большее одушевление, еще большую беззаботность: в ней было такое обилие выразительных, румяных и бледных рожц, светлых и плутовских глазенок, бойких и картавых языков, льняных и как вороново крыло черных кудрей, что мощные силы природы, так рельефно выразившиеся в этом шумливом сборище сельских пострелят, моментально проникли в самую глубь души Петра Петровича. Там силы эти с необыкновенною быстротой распорядились с расстроенными сердечными струнами недужного человека: они влили в них всю горячую кровь, которая оставалась еще в его изболевшем организме, и потом заиграли на них страстную песнь любви к природе и людям...

Во всем сердце Беспкойного, наполняя его нежащею теплотой, звучала песнь эта. Она состояла из разнообразных, быстро менявшихся тем: временами в ней блистала грациозная улыбка вот этой маленькой белокурой девочки, которая поздравляет теперь приезжего барина с новосельем чайным блюдцем свежей земляники. Пристально смотрит на

нее больной, вдумчивый человек, но видит ее крайне смутно. Он даже просто ничуть не видит ее, а мерещится ему раздольный луг, озаренный ярким сиянием солнца и покрытый густою травой, сиявшею в разных местах застенчивыми улыбками земляники и клубники и звеневшей разнообразными птичьими посвистами. По этому лугу реет белокурый ангел, собирая землянику в чайное блюдце. Сердечная песня Беспкойного, так весело любовавшаяся его светлыми кудрями, перешла теперь в другие тоны. То были тоны невыразимого уныния: бедность непременно должна была обсесть эти кудри – и тогда безобразные остатки их спрячутся под грязный платок; горькие заботы выключают из очей детскую ликующую радость; польются из этих очей горячие слезы, которые на этом, теперь милом личике выжгут печать всегдашнего горя, от тяжести которого осунутся эти словно из мрамора выточенные плечи и бессильно задрожат крепкие ножки.

Рублевою бумажкой, врученной девочке в оплату за землянику, Беспкойный хотел, вероятно, хоть отчасти смягчить печальную

участь, которая, по пророчеству его сердечной песни, должна была обрушиться на деревенского ребенка.

Такой щедрый подарок возбудил в толпе ребятишек самую безалаберную бурю восторгов. В один миг комната Беспокойного преобразилась в многолюдный рынок, на котором ребята продавали барину свои разнообразные радости: тут были молодые воробьи с синими смиренными глазками; белоносые злые галчата, с энергичным карканьем щипавшие своих притеснителей за руки и за пухлые щеки; на руках одних продавцов виднелись колючие ежи с серьезными синими мордочками, между тем как другие хвастали серыми зайчатами, грустно смотревшими на торговлю большими, испуганно выпученными глазами. Продавцы ежей, предлагая их вниманию «хорошего» господина, уверяли его с крепкою божбой, подслушанною у тятек, что с ежом его не возьмет никакая крыса, а крысы у тетки-кумы – невидимо сколько! По наблюдениям ребят выходило, что ежей также черти очень боятся: в какой избе водится еж, туда, уверяли ребята, даже и в полночь «домо-

жилу» никакого ходу нет, о чем он всегда, на виду у всех, горько жалуется по ночам, сидя на крыше той избы и обхвативши трубу ее дюжими мохнатыми руками. Обладатели зайцев, не отрицая в натуре ежей силы, успешно поборавшей дьявольские ухищрения, упорно в то же время отвергали их способность устоять барина от куминых крыс.

– У кумы, сударь – картавили зайчатники, – крысы вот с этого щенка попадаются, – мы сами их видели. Где же ежу с ними возиться? Тут большой котнице нужен, с усами... Ах, и котнице же у меня есть на примете для ваших крыс! Барин тут старый к нам приехал на дачу, полковник одинокий, так у него... Хотите, сейчас сворую пойду?..

– Да будет тебе про кота толковать! – гомонили другие купцы. – Дай сначала зайцев-то распродать барину, потому заяц для него теперь – самая первая вещь. Заяц все равно как голубь, судырь, мясного не ест. Дедушка и бабушка говорили: и зверочек этот и птичка, за свою чистоту и безгрешность, всем ангельчикам божьим – любимые детки...

С азартом денежного монополиста Беспо-

койный скупил все продукты, предложенные ему. По его комнате заползали ежи, запрыгали зайцы, залетали голуби и воробьи; под диваном застонали еще слепые щенята. Разнообразный корм для всех этих разнообразных элементов был рассыпан и разбросан по полу комнаты щедрою рукой кумы. Обрадованный таким обилием окружавшей его жизни, от которой Петр Петрович так отвык в своих одиноких скитальничествах по шамбр-гарни[6] больших городов, он, к вящему своему удовольствию, приобрел еще у какого-то купца две деревянные узорчатые свистелки и бережно положил их на письменный стол, предварительно свистнув в них с видимым, хотя и скрываемым, любопытством. Этот же стол Беспокойного, с неприметною даже для кумы быстротой, украсился большою стеклянной банкой с несколькими пучеглазыми красноперыми окунями, которые, с целью удовлетворения господской охоты, были вытащены из живительного пруда за два двугривенных штанишками одного малолетнего, но весьма предприимчивого деревенского плутяги.

Бог один знает, что делалось с Беспоконным в это достопамятное утро. Он охотно пил чай, который против давнишнего обыкновения, не казался ему ни горьким, ни затхлым; он ел булку и сыр; он даже не кашлял.

«Много я здесь поработаю и отдохну, ежели дело дальше так же пойдет...» – безмолвно думал Петр Петрович, все любовнее и любовнее относясь и к куме, разливавшей чай, и к ребятишкам, которые успели уже разрыть у него богатое собрание различных гравированных путешествий...

С наслаждением удовлетворяя разнообразные: «Это што такое, барии? А эти из каких земель будут, господин?» Петр Петрович в это же самое время, с непонятною для самого себя способностью к делу популяризации, успел заодно, кстати, так сказать, объяснить куме шарообразность земли, местонахождение на ней полюсов и уже принялся было отыскивать бумагу и карандаш для того, чтобы как можно нагляднее начертить ей сначала параллели, а потом приступить...

– Вот она наша родная-то где, российская-то!.. Эвоя какая она, матушка, наряд-

ная, – в красном вся! – весело хохотал Постелишняков, стремительно врываясь в комнату с громадной ведерною бутылью, наполненной темно-красноватою водкой. При виде этого чудовища ребятишки побросали книги и присмирели. В головенках их заходили смиренные думы относительно невероятных богатств приезжего господина, который сразу взял да и купил себе ведро самой дорогой рябиновки. Даже кума, видимо, не ожидавшая от Беспкойного такой прыти, теперь смотрела на него с крайнею симпатией и спрашивала:

– Для чего это вы, Петр Петрович, такую прорву водки купили?

– Да ведь што же?.. – мялся он по своему обыкновению. – Водка теперь нужна будет... Вместе ведь всё?.. Нас теперь много...

– Ка-анешна, нас теперь семья большая... – выручил его Увар Семеныч. – Тот рюмочку выпьет, другой... То с устатку, например, пропустить потребуется, то пред едой, – и не увидишь, как вся прикончится... Вот, судырь, сдача! Только тут несчастье вышло: рублевая бумажка в траву из рук у меня упала, – искал,

искал... Такая, право, аб-бида! Н-ну, да мы вам выплатим, судырь: вот как продам сена, сейчас я с вашей милостью разочтусь в аккурате-с!

Такое, в сущности говоря, плевое обстоятельство едва было не разрушило счастливых утренних обаяний. Для Беспокойного, как для бессребреника, исчезновение в траве рублевой бумажки представляло собою малозначащую убыль, которая, «вместе с продажей сенов», непременно возместилась бы почтенным Уваром Семенычем; но в глазах кумы асигнации нисколько не походили на глупых птиц, бесцельно реющих туда и сюда, точно так же как широкие ручищи Постелишниковы вовсе не казались ей нежными ручками барышни, способными выпустить на волю зацарапавшую их бабочку или воробья. На основании этого сознания лицо кумы, до сих пор довольное и счастливое, омрачилось сердитыми тенями. Ее глаза упорно и злобно впились в Постелишникову, который, как виноватый ребенок, страшно сконфузился от этого взгляда. У него, что называется, задрожали поджилки; его бравый рост уменьшил-

ся на целую четверть, а размашистые разговоры сменились такого рода тревожною путаницей:

– Што это вы, тетенька, так страховито на нас поглядываете? – залепетал сей муж, «состоящий дяденькой при собственной тетеньке», сохраняя, однако, на своих румяных устах фальшивую улыбку. – Может, вы полагаете, что баринова бумажка в пропой пошла, так это, сичас издохнуть... вот они иконы-то божии! Точно, целовальник поднес мне два стаканчика поповской... Он мне, судырь, стих прочитал, потому он из солдат и, значит, подбирает на гармонию из своего ума разные стихи. Он мне сказал в кабаке: «Уварка, говорит, заняты будут эти стихи для тебя:

*Раз ходили мы за оным
С Кузей Тихим в лес густой.
Повстречавшись же с Аленой,
Водки выпили простой...»*

Поэзия кабатчика в этот момент была не прервана, а как бы разбита внезапно налетевшею молнией. Так был грозно шумлив окрик, с которым кума, предварительно шваркнувши своего золотушного ребенка на колени к

Петру Петровичу, набросилась на содрогнувшегося, как от грозы, Постелишникова:

– Я тебе стихи-то эти в горло в пьяное вкочлочу!.. – с диким азартом кричала она, мужественно тряся за шиворот бедного Увара. – Мало тебе стиха будет, – кабатчика тебе в нутро засажу, волчья ты жратва!.. Д-ды еж-жели ты у меня еще раз с барином эдак-то... Руки тебе, по-летошнему, в кандалы, и к инералу на кирпичный завод... Он тебя сократит, червя подлого! Вы, барин. – обратилась затем к нему кума[7], – не давайте этому идолу денег, – я сама всему цену знаю... У-у! Гр-рабитель! Пьяница несчастная!

Проговорив с необыкновенным экстазом эти слова, кума в неподдельном волнении упала на стул и закрыла лицо руками, ничуть не обращая внимания на те страшные заклятия, которыми обескураженный Увар Семеныч призывал на свою голову самые удивительные несчастья, если только он «чирез эту самую рублевку сделал какой-нибудь оборот в свою собственную пользу»... Тайные, глубокие недра земли, по заклятьям этим, имели совершенно нечаянно разверзться под

ногами Постелишникова и изрыгнутым оттуда серным жупелом беспощадно опалить его за поживу чужим добром. Семьдесят семь сестер-лихорадок за ту же поживу имели сокрушать его на разные лады денно и ночью, и, наконец, Увар трагически бросился прикладываться к образам, уверяя Петра Петровича, что Николай-угодник и божия мать непременно отвернут от него свои лики, ежели только он сфальшивил насчет рублевки...

Больших трудов стоило Беспокойному разогнать все эти ужасы, напоминавшие ему огненные проклятия в драмах Шекспира. Он как угорелый бросался то к куме, умоляя ее прекратить истерические всхлипывания, то к Увару, настойчиво рекомендуя ему быть мужчиной, как будто он намеревался сделаться длинноволосою бабой... Наконец несчастный литературщик прибег к посредничеству рябиновки, предложив взбаламученным туземцам опробовать ее. Это предложение, произведенное в действие, дало результат весьма утешительного свойства: утро снова прыснуло всеми своими теплыми и светлыми радостями на всю компанию, лишь только кума,

томно прищуриив глаза, пропустила чайную чашку водки. Бойкое прищелкиванье языком, с которым Увар долбанул большой стакан рябиновой, живо ободрило приобретенный Петром Петровичем зверинец, который, по случаю происшедшего гвалта, попрятался было в полном составе по разным темным запечьям. Все это наставшею тишиной было снова призвано к обычной жизни: пернатые настойчиво колотились зобами о стекла, рассчитывая улизнуть сквозь них на раздольные луга, между тем как четвероногие по всем направлениям перекрещивали избу, любопытно внюхиваясь в ее топографию, конечно, с тою целью, чтобы, как следует солидным гражданам, поскорее устроиться в какой-нибудь мирной, способной хоть немного защитить от житейских невзгод щелке.

– Эй вы, твари божьи, сторонись, а то кипятком сварю! – кричал на копошившихся по полу зверьков Постелишников, к которому успела уже вновь возвратиться его молодец-ватость.

Самовар, заглохший во время куминой вспышки, был разогрет услужливым челове-

ком с необыкновенною быстротой. Своим хотя несколько и неразборчивым, но несомненно веселым разговором он много содействовал к усмирению возбужденных страстей. Любезно приглашая к чаепитию, самовар в то же время делал весьма явственные намеки на старинное русское обыкновение, по которому оказывалось крайне аппетитным делом — «пропустить перед чайком по рюмочке горького»...

И действительно, как кума, так и Увар Семеныч, по мере прикладывания к большому графину, все более и более, так сказать, чувствовали себя в эмпиреях. На белых и полных щеках кумы расцвели ярко-красные розы, в уголках ее серых глаз сверкали искорки, и Постелишников всего себя употребил для восторженного выражения перед барином самых благородных чувств. Даже маленькие дочки хозяйки, в молодые головенки которых мать тоже запустила по *махонькой*, теперь совсем перестали дичиться господина. По приказу деликатной родительницы они развязно подскочили к Беспокойному и, очень ласково прокартавив: «Пожвольте, балин, жа чай и

шахал лучку у ваш почаловать», – с большим шумом принялись возиться с субъектами зверинца и птичника, взасос целуя зайцев и воробьев и из всех сил стараясь накормить ежа оставшимися у них от чая карамельками.

Беспокойный совсем преобразился, с любовью присматриваясь к возне ребятишек с животными. В его сердце как-то особенно музыкально раздавались звонкие голоса детей, и, слушая их, он в то же время веселым хохотом приветствовал рассказы кумы, которая мало-помалу успела впасть в свою роль господской забавницы. Она осыпала Петра Петровича бойкими анекдотами про баб и девок, которые проходили мимо ее окон. Так, по ее словам, Матрена вот эта в прошлом году за любовную над собой «насмешку» утопила в пруде донского казака вместе с лошастью; у пробежавшей сейчас Лукерьи третий год уже скрываются от суда и долгов какие-то адвокат и купец, от которых она нажила столько добрища, что и внукам не прожить; к двадцатилетней Пелагее, имевшей уже, несмотря на свою молодость, пятерых детей, сельские ребята, как они говорили, для ровного

счета подкинули было шестого новорожденного, но, счистивши с девки ведро водки, полсотни яиц и меру свежих огурцов, они взяли от нее ребенка и подкинули его в ближнее село к бездетному старосте...

Бесконечным потоком лились из уст кумы эти рассказы. Они с необыкновенною яркостью воспроизводили пред глазами Беспokoйного поразительные по своему безобразию картины той цыганской жизни, которою живут теперь почти все деревни, окружающие собой большие городские центры. Не важно было, например, в этих поэмах кумы то обстоятельство, что какая-то слабосильная баба Матрена смогла утопить в пруде бравого казачину, но, без сомнения, всякий поразится в этом деле тактом безграмотной сельской женщины, бесследно утопившей в безмолвной воде свой грех, который долго и тщетно отыскивали там различные становые пристава и судебные следователи. И чем дальше продолжала кума свои деревенские эпопеи, тем все страннее и непонятнее делался для книжного горожанина их внутренний смысл: какой, например, хоть сколько-нибудь при-

метный шанс для существования оставался у пристанодержательницы – Лукерьи в третьегоднешний Николин день, когда у ней умер муж, оставив ее с четверыми ребятами в раскрытой и разваленной избе? У бедной вдовы не оставалось никакого сучка, за который бы могла зацепиться и мало-мальски окрепнуть ее сила для помощи самой себе и ребятишкам. У нее не было другого выхода из убийственного положения, как только вместе с ребятами лечь около мертвого мужа и замерзнуть. Лютый Никольский мороз, зашедший, вероятно, погреться в нетопленную избу Лукерьи, советовал ей не плыть против течения, обещая до полночи еще успокоить ее с ребятами самым добросовестным образом...

IV

Чем больше жил у кумы Петр Петрович, тем все больше поражался он невероятными чудесами, которые обуславливали собою существование края. Кроме кумы, он успел познакомиться со многими разговорчивыми стариками и старухами. Эти добрейшие существа, потягивая чаек и рябиновку Беспokoйного, в какую-нибудь неделю охарактеризовали ему бесчисленное количество лиц, населявших край, – по крайней мере, на пятьдесят верст кругом, так было велико знакомство древних старцев со страной... Эти рассказы, очень часто рознясь между собою входившими в них вводными частями, в конце концов упорно стремились в одну общую форму: как серьезно бородатые старики, так и бескровные, засушенные старушки с завидным согласием непременно заканчивали свои самые забавные характеристики одним и тем же: «Плохо, плохо у нас, судырь, живется»...

Народ страшно пил и вследствие этого обеднял так, что его голодное до прозрачности нутро можно было насквозь проткнуть

тупою палкою... В крае царила пьяная горячка. В этом убедили литературщика дальнейшие знакомства, которые он делал с окрестными лицами, при посредстве кумы, стариков и старушек. Так, по рассказам, многие из прежних солидных домохозяев и расторопных торговцев теперь боялись даже показаться на улице, где на них набрасывались безобразные видения...

Видения безотвязно шатались по бесцельным следам этих бедных людей, не давая им покоя ни в пустынном поле, ни во время отдыха на обрывистом берегу какой-нибудь речки, ни в дремучем лесу... Злое влияние этих вызванных пьянством видений было ужасно. Почти всегда как-то случалось так, что человек, обезумевший от них, видел себя в это время на какой-нибудь укромной поляне, сплошь укрытой от посторонних глаз густою листвою. Тишина и спокойствие этого места наводили больного на мысль, что как бы хорошо было для него покончить здесь навсегда с своим горем, вдали от людей – либо завистливых, либо насмешливо злобных... Обстановка уютного местечка выражала со-

бою торжественное обещание долго хранить мрачную тайну горя, устремившегося к вечному покою, – и, кроме того, по какому-то странному случаю, в нем с первого же раза рельефнее всех предметов лесной чащи обращал на себя внимание ширококолейный тележный след, проложенный каким-то косарем, который, видимо, сейчас только уехал с поляны со скошенным на ней сеном. На тележном следу в виде сероватой, узорчато изогнувшейся змеи лежала здоровая моченцовая веревка. Для нормального человека это было самым обыкновенным делом: веревка забыта косарем – и кончено... Другой мужик без разговора присоединил бы найденную вещь к своему хозяйству, где всякий гвоздок временами делается очень ценною вещью... В пьяной голове веревка принимала ужасное значение.

– Сама судьба посылает, – шептал спившийся с круга человек, с большим любопытством рассматривая затерявшуюся в лесу веревку, – зачем бы хозяину забывать ее, если бы не моя судьба? Веревка знатная, – копеек двадцать за нее всякий даст, – кому же охота

свое добро даром разбрасывать? Выходит, – фантазировало горе, – што к моим следам давно уж бесы приставлены, штоб я от своей судьбы не ушел... Н-ну, будет!..

Пили от разных причин. Одна старушка, например, выпив рюмочку живительной влаги, припомнила такую историю своей внучки.

– Подрастала у нас Лушатка, – рассказывала бабка, – на обчую, семейную радость. Моложе ее и озорливей, кроме кошки, в избе никого не было, – ну, значит, все мы ее и баловали. Вот дед и взял ее с собой однажды в Москву, штоб она к городу присматривалась, потому шел уж ей четырнадцатый год. А в Москве дед завсегда останавливался в людской одного генерала, у которого он испокон века каждую зиму в старших кучерах ездил. Как нарочно, в этот же самый день генеральская барышня приехала с дачи вместе с губернанткой лечиться; и увидь эта самая барышня из окна нашу Лушатку, – закричала сичас: «Позвать сюда!» Вошло паше дите к барышне – и надо так полагать, что очень ей полюбилось, потому и однолетки были они, и шуст-

рость большую обе имели. Всего пуще понравились генеральской дочери Лукерьины брови и волосы: они были похожи у нее на золотые, тонкие и мягкие нитки, а сама Лушатка, когда с ней кто-нибудь из именитых господ заговаривал, редко когда свое слово вклеивала, а больше всего улыбалась розой махровой и, как молодая лошадка, как-то очень уж хорошо и красиво вздрагивала крепким тельцем... Кончилось дело тем, что нашу молодую ворону затащили в барские хоромы, в которых она и прогостила два года. А там барышню замуж выдали, а нашу к нам прислали в деревню. Стали к ней наши деревенские ребята, почище да побогаче кто, присватываться, – всем отказывала. Добро генеральское ничуть не жалела – одевалась и в будни, как барыня. Завела себе подруг и их тоже одаривала: кому платье, кому бурнус... Только по времени прекратилось все богатство ее: платьица – кое распоролось, кое совсем порвалось, и денег у ней не стало. Мы уж с стариком и чайто ей с сахаром на свои покупали: заголодает, боялись, и умрет. Пошла я к генералу, а он со всем семейством в чужие края на два года

уехал. Тут-то моя голубушка свихнулась совсем: запила... С деревенскими девками и парнями стала обходиться так великотно, как будто они крепостными при ней состояли: от кого вином пахло, всех из избы вон выгоняла, а девок, послабее каких, била и за волосы дра-ла, ежели они не хотели звать ее барышней и не слушали ейной игры на фортепьянах, с чем она думала очень хорошо познакомиться, колотя двумя большими палками по обе-денному столу. Два года так-то расхаживала Луша по деревне в рогожных платьях с длин-ными шлейфами и в таких же бурнусах и чепцах, украшенных фольгой и разноцветны-ми бумажками... Однажды как-то я недосмот-рела за ней: так никто и не видал, как она сбегла куда-то...

В деревенской публике, слушавшей этот рассказ, он не вызвал ни малейшего огорче-ния, ни дружеского участия. Напротив, лишь только старуха окончила его, как на нее со всех сторон полетели разные рацеи, испол-ненные завистливых, ядовитых упреков.

– Ты, баушка, погоди-кась в кислую-то ка-пусту с нами играть, – недовольно гомонила

на нее публика. – Зачем хныкать-то, – ведь не бьют еще пока... Вы вон с покойником-то ишь какую на внучкины деньги избу себе своротили – палаты! С дачника по девяносто рублей кажинное лето собираешь... Вот у нас как! Так ты, баушка, заместо того чтобы мокроту в глазах разводить, всего бы приятнее сделала, ежели бы денно и ночью просила у господа внучке царствия небесного, а себе – грехов прощения.

Публика, с молчаливым и почтительным терпением ожидавшая, когда хозяину благоугодно будет поразнообразить выпивкой застывшую беседу, теперь смутно и тихо продолжала толковать о чем-то между собой, несмотря на то, что кума, этот мажордом Петра Петровича, наполняла уже рябиновкой различные стаканчики, чарочки, рюмочки и т. д.

– Нет, для бедного человека по нынешним временам тяжелым не так-то легко можно сбросить с плеч свое несчастье, – продолжались разговоры под звон рюмок. – Соседи у бедного человека сами все разными горями, словно гнилыми язвами, наскрозь прониза-

ны, – иной и рад бы помочь, да нечем. Недалеко ходить: староста у нас в четвертом году тысячу рублей из мирских денег истратил, а мужик был торговый, исправный. Об растрате своей сам всем говорил и сознавался, что и прежде из сельских сумм брал капитал на торговлю. Ходит таким гоголем, уныния к себе на лицо не пуцает... И кажись бы, совсем ничего, обернется как-нибудь, думаем: расторопный мужик, достанет тысячу рублей, и – шабаш! Ан нет... Старички и старушки, какие подолговременнее и повразумительнее, сразу увидали, что к нему уж *бесы приставлены* и что немного уж времени оставалось ему топтать ногами мягкую траву... Так и сделалось: затосковал мужик и затуманился до того, что и денег не взял у приятелей, московских торговцев, какие нарочно приезжали к нему – помочь ему перевертку сделать. «Нет уж, говорит, благоприятели мои драгоценные, незачем мне вас в мою судьбу ввязывать, – вижу я, загрызет она меня вдосталь»... и загрызла!

По мере опустошения, производимого крестьянами в ведерной бутылки с рябиновой водкой, в голове Беспокойного сгруппировыв-

валась масса нелепых сведений о бедствиях, претерпеваемых крестьянами...

Один анекдот сейчас же был рассказан некоторым стариком в подтверждение этой мысли. Наэлектризованный выпивкой, старик тепло и задушевно сожалел свой несчастный край, отданный в полное распоряжение судьбы – этой прочной русской богини, подданные которой считают грехом даже мысленно противиться ее распоряжкам.

– Теперь вот, судырь, – говорил старик, – приезжает к нам в летние месяцы много народа, с большими деньгами, отдохнуть недельку-другую, летним воздухом подышать. Што же?... Самая маленькая только часточка из этих господ, живучи у нас, настоящее дело делают: купаются, например, молоко пьют парное, рыбу ловят, из ружей стреляют; конечно, деньгами от своего безделья откупаются, сыплют ими всюду без счету, – ну, мужики наши всячески и мирволят им... Четыре лета кряду ездил к нам барин один – страшный охотник рыбу ловить. Приедет он, бывало, с своими удочками, наймет горенку, приснастит к себе за хорошую плату двух-

трех сельских ребятишек и сичас отправляется с ними за рыбой, верст за пять, на самую Клязьму. Суток по трое охотничал он с ребятишками, потому – с ним всякая провизия была и всякая укрыша от холодных ночей. Много добра барин этот нашей деревне в четыре года сделал: мужикам помогал с большой осторожкой – боялся, пропьют, – а многодетным вдовам всегда благодворил без отказа. Увидит, бывало, избу, что на одной глине держится, сичас же он туда. Спрашивает: «Вдовья это изба?» – «Вдовья, – скажет хозяйка, – а тебе што, судырь?» – «Да вот покурить зашел, так ведь нужно же у хозяев спроситься». – «Милости просим, судырь...» Ну и начинает судырь разговор: «Извощик был мужик-то?» – «Извощик, – отвечает хозяйка глиняной избы, – убили его под самый Покров, ночью, на Ходынке. Наши извощики всегда уж на Ходынке жисти решаются. Лошади и пролетки до сих пор не найдут». – «Ребятишек-то у тебя штук шесть найдется?» – «И счет забыла, судырь... Четверо-то, вон взгляните в окно: ишь как на улице гомонят...» – «Ну так вот что, вдова божья, поди-ка ты мужичка како-

го-нибудь степенного подряди – довести нас с тобою до Малюевой роци. Ах! какой там семиаршинник есть, еловичек для дачи, загляденье!» – «Это што же, судырь, вы у нас строиться хотите, што ли?» – недоумевала хозяйка. «Да, хочу... Эту гнилушку вот разломаю и вместо нее выстрою дачу из семиаршинника, а вдова даст нам на честном миру запись, что, дескать, заняла она у него, у такого-то барина, на постройку столько-то рублей, какие и обязуюсь я, вдова, оному барину уплатить все по совести. Раскусила теперь?..» Много, много добра сделал этот господин. Только однажды ребятишки, которые провожали его на рыбную ловлю, со всех ног прилетели в деревню и кричат в большом испуге: «Запрягайте лошадь поскорее – барина хорошего, который рыболов был, поднимать нужно... Он душеньку господу богу отдамши». – «Как так?» спрашиваем. «Да так, – говорят ребятишки, – при нас все и дело было: все дни он на Клязьме скучал, а нынче чуть зорька встал и принялся удочки оправлять. Мы сичас за червями было вскочили, а он говорит: сам нарою пойду... Все утро был очень раздумчив и все водку тя-

нул; печально эдак пел и насвистывал... Обогрело когда, он нас чаем напоил, накормил ветчиной и говорит: „Ступайте, говорит, ребяташки, в деревню и скорее наймите там лошадь, – мне нездоровится что-то, так пусть меня подвезут...“ Не успели мы маленько отбежать, кэ-эк он вслед нам из ружья гродахнет... Обернулись мы так-то – к нему и увидели: лежит он на лужку и ногами дрягает.

Всю грудь у него ружьем разорвало...» В большом сборе и с телегой отправились наши мужики на Клязьму поднимать барина. И теперь на его могилку ежели хочешь взглянуть, так ступай на Клязьму. Там, в четверти версты от глухой дороги, бугорочек над берегом высится, – тут его мужички с горькими слезами и зарыли, потому знали, что бугорок этот был его любимым местечком. Вот они, *бесы-то*, что значат: видел барин, что люди водку пьют, ну и сам пристрастился...

— Вот и богатый человек и хороший, а своей судьбы не минул!.. – толковала публика про хорошего человека, поминая рябиновкой его добрые качества. – Заела-таки его судьбища злая, отняла опору у бедности...

– Таких ли еще тузов заедает она! – быстро развивалась, под влиянием выпивки, тема насчет того, что и богатые очень часто наравне с бедными погибают от своей судьбы. – От нее и богатство не спасет никакое... Ведь вы, Петр Петрович, знаете дворец купца Решилова? Вон флаки-то на нем отсюда видны. Так ведь это какой богачина – первый по всей Москве! Что было в наших палестинах господских лесов и имений, – верст на тридцать кругом, – он всех их скупил, дач настроил везде, фермы поразвел, – ну, значит, и понадобилось ему выехать из Москвы, чтобы жить около своего трудного хозяйства и получше за ним присматривать. Живет он так-то в своем дворце и орудует себе лесным делом, также каменоломного частью. Поплыли к нему барыши со всех четырех сторон; но все же мы

видим, что господин – не обидчик какой. Понадобится мужичку избу строить, сичас к Решилову, а Решилов для бедного мужичка и уступку сделает, и в рассрочку продаст. Так мы все очень полюбили его и жалели, што он вдов: ни посоветоваться ему не с кем, ни за ребяташками присмотреть никого у него не было, а ребят, надо думать, после первой супруги осталось у него штук шесть-семь. Видим мы, однажды приехала к нему барыня – деликатная такая, белотелая и не старая; дочка при ней состояла, годков эдак в одиннадцать. Приятели, какие при доме служили, сказали нам, что это домоправительница приехала. Ну и чудесно! Только пошли у этой домоправительницы дети... Приедешь, бывало, в решиловскую контору – по усадьбе полчища кормилиц тихим шагом гуляют с детками на руках. Одна к одной были прибраны эти кормилки: кровь с молоком, опять же и убраны на диво: в красных шелковых сарафанах, в белых как снег рубахах и в кокошниках, унизанных светлыми камнями. За кормилицами бегают девочки, которые приставлены, штобы детей всячески забавлять. Де-

вочки эти, как только у какой кормилицы за-пищит дитя, сейчас же принимаются в коло-кольчики звонить, в трубы трубить и в бара-бан стучать... И славно же было смотреть на эту сытость, как она по сосновой роще, окру-жавшей дворец, словно в раю, в полном сча-стье разгуливала! И везде-то цвели цветы, пе-ли и кричали птицы, серебряным дождем шу-мели фонтаны. Редкие только мужики, осо-бенно крепкие в молитве, устаивали в зави-сти к решиловскому богатству, а остальной народ вечно кричал: «Посылает же господь эстолько добра одному человеку! Эх, хоть де-нек бы прожить так, как счастливый Реши-лов живет!» А у Решилова счастья-то и не бы-ло, а мы, соседи, только богатством его за-слепленные, долго не примечали, что к бога-чу давно уже *приснастилась евойная судьба*. Мы это заметили как-то вдруг и совсем невзначай. – Обходительный и веселый ба-рин, он стал теперь как-то уныло задумывать-ся; глаза у него как свинец сделались и на лоб вывернулись. Ты у него, бывало, смиренно уступочки выпрашиваешь, а он воззрится на тебя как бык, и ни одно твое слово, видимо, в

уши к нему не попадает. Случалось, одумывался – и тогда гневно приказывал от своего имени, чтобы кормилицы как можно скорее из рощи бежали и ребячьим визгом ему не надоедали. Все приметнее и приметнее делались эти припадки, когда домоправительница благословляла его новою двойней. Решилов даже и скрыть их не мог: он бегал как угорелый по рощам и бормотал что-то. Камердинер-старик долгое время старался разнюхать, в чем тут штука. Сыздетства он с барином был вместе, знал его как свои пять пальцев, так только он один и проник в бариново бормотанье, да и то в ночное время, когда он в бреду был, и рассказал нам. Решилов ни днем, ни ночью не знал никакого покоя – он все думал, что господь в наказание за прежние грехи осыпает его, как дождем, ребятишками и что ребятишки эти непременно разорят его... Камердинер слышал, как он в своем кабинете с отчаянными рыданиями говорил: «Господи! што же это будет такое? Вот в пятнадцать лет их девятнадцать человек народилось – и все живы ведь, да покойница семерых оставила... Господи! ведь у меня всего-на-

все шесть миллионов только: ведь поделить их между всеми да себе ежели на старость оставить, так Решиловы нищими сделаются...» А домоправительница, до какой эти слухи ничуть не доходили, нет-нет – да к концу года цоп ему парочку новых наследников... Года четыре тянулось таким образом дело, и, может, Решилов и помирился бы с ним как-нибудь, если бы не пришла к нему в голову мысль жениться на дочери домоправительницы. Сказано – сделано!

– Вспомнил он свою былую удадь и приударил за Варенькой. Та с лапочками... «Только, говорит, милый друг, нужно маменьку с ее детьми удалить как-нибудь... Я никак, говорит, не могу жить с такой оравой». Не долго думая, на другой или на третий день Решилов собрался с Варенькой прокатиться, а в церкви соседнего села уже все было для свадьбы в лучшем виде изготовлено: там и шафера были, и свидетели всякие, и певчие московские. Воротившись с гулянья, молодые сичас же к домоправительнице; целуют они ее: «Милая маменька, какой мы вам суприз приготовили: мы только что, – радуют ее, – светлым вен-

цом в Грибасовской церкви перевенчались. Вам, милая маменька, в Москве дом куплен за сто тысяч, – вы вот с завтрашнего дня помаленьку и собирайтесь туда и деток своих берите с собою. Они вам на старости лет большим утешением будут... На них на каждого муж внес вчера в банк по десяти тысяч». Видит старуха, что дочка поперек ее переехала, только, как женщина с большим понятием, увидавши, что ничего поделать уже нельзя, без всякого сердца переселилась в Москву. Молодые остались одни, и у Решилова следа даже не осталось прежнего сокрушения. Целый год мы не видели человека работающей его и свежее, а к концу года наш барин совсем и навсегда опешил, потому молодая вся в матушку оказалась – осчастливила его за один раз наследником и наследницей. Теперь богач наш ополоумел совсем: к жене вот уже несколько годов ни ногой, а живет он в отдельном флигеле, с четырьмя монахами, которые посменно день и ночь псалтырь читают над его гробом. Ночью старик и спит в этом гробу. Так живет он вот уже лет с пять, помня про одного бога и не допуская к себе

ни единого живого человека, кроме монахов да по праздникам свой приходский причт; а у супруги его в большом доме от всегдашних пиров идет дым коромыслом: наследников у ней развелось видимо-невидимо – и ради них неизвестно кем и неизвестно в какую глушь запрятаны теперь решиловские дети от покойной жены, которым вряд ли когда придется воспользоваться отцовским богатством. Вот она – *судьба-то* – какие высокие горы раскачивает!..

В месяц своей жизни на куминой даче Петр Петрович перезнакомился со всеми замечательными старожилами околотка. Все они глубоко верили в судьбу и любили рябиновку с хорошей закуской, вроде колбасы, ветчины и т. д. Унылый, отуманенный вечно одной и той же темой их рассказов, Беспокойный несколько раз пробовал подпаивать их для того, чтобы навести их старческие мысли на более веселые события. Божьи старички и старушки, с большим удовольствием поддаваясь искусительным угощениям доброго барина, тем не менее никак не могли ему спеть какую-нибудь успокоительную песенку, а

только, выкушав рябиновки не в меру, беспомощно скатывались со стульев на пол, где и засыпали мирным сном невинных младенцев. Проснувшись, субъекты эти немедленно охмелялись и потом либо принимались за новые повествования насчет судьбы, либо направлялись восвояси, предварительно до последней степени измучивши Петра Петровича бесконечным рядом разных просьбиц. Всем этим людям непременно надобилось: и вот этот остаточек сырку или ветчины, и бумажка с перышком и карандашиком для родного школьника; они вымаливали разрешения взять с собою аптекарский пузырек с недопитым лекарством и вот эту стоящую в углу бутылку, которая барину ни за что уже не потребуется; бутылочку потом требовалось наполнить барской рябиновкой, которой, как было известно по многолетнему опыту, так полезно было в жаркой бане или просто печке растирать стариковские кости; затем следовали осенения себя крестом предобразами, бесконечные прощальные поклоны и, наконец, при самом уже выходе из избы из самой глубины стариковских внутренно-

стей с каким-то удушливым шипением выходило последнее сказание: «А што, барин, как я хотел поскучать тебе насчет трешницы?.. Сделай такое одолжение!.. Такая у меня по хозяйству недотыка теперь – говорить не хочется»...

Все это попрошайничество ужасно надоело Петру Петровичу своими нищенскими, плаксивыми тонами.

«Уж узнаю же я, в чем тут суть! – энергично думал Беспокойный, любуясь Уваром Семенычем, который благодушно поваливался на траве на его плече. – Это все вздор, что они пограбить любят нашего брата. А я вот целый год проживу с ними; в самое нутро к ним залезу, – тогда поглядим!..»

Несколько дней особенно сосредоточенно продумал о чем-то Петр Петрович, и в результате этих дум оказалось, что он сделался еще щедрее к мужикам, удовлетворяя их самые чудовищные желания. Никому ни в чем не было отказа, выносили ли это его средства или нет. В его собственном поведении произошла тоже значительная перемена: он изменил свой деликатный говор на грубый му-

жицкий жаргон и вместо учтвогого *вы* стал ко всякому относиться на *ты*, перестал чесать голову и бороду – и в одно прекрасное утро очень изумил Увара Семеныча, отдав ему строгое приказание сейчас же вычистить ему плед и высокие сапоги и никогда вперед не брать без его позволения из комнаты никаких вещей. С тех пор не проходило на десятиверстном расстоянии ни одной сходки, ни одного сколько-нибудь замечательного харчевенного или кабачного заседания, где бы нельзя было встретить Петра Петровича в ко-сой ситцевой рубаше, в нанковых кучерских штанах, в высоких сапогах и, на случай дождливой погоды, с пледом на руке.

Так Петр Петрович из всех сил старался, потягивая рябиновочку, овладеть таинственной загадкой, которую представляет собою жизнь «народных масс»... В довершение всего сказанного комнату Беспокройного сплошь завалили книги, каждый день проливным дождем сыпавшиеся из книжных магазинов. В отсутствие барина Увар Семеныч очень любил разбирать заглавия этих книг и ужасаться их чудовищною дороговизной.

Увар Семеныч, покуривая в креслах Петра Петровича его душистые папиросы, основательно находил, что этого полоумного, дряблого дурака бить некому, ибо какой благоразумный человек согласится заплатить пять рублей за несколько листов печатной бумаги? Ихний вон барин бывший доходу-то сто тысяч в год получает, да и то, кроме «Развлечения» и «Современки», ничего не выписывает...

1877

Примечания

Печатается по тексту журнала «Будильник», 1876, No 46, с. 3—5; No 47 с. 3—5 и No 48, с. 3—5; 1877, No 19 с. 3—4; No 20, с. 3—4.

Это последнее произведение Левитова осталось незавершенным. В примечании от редакции при публикации последнего отрывка сказано: «На этом и обрывается манускрипт „Всеядных“... Окончание очерка осталось тайной его талантливой автора, безвременно сошедшего в могилу».

Нумерация последних двух глав проставлена издателями.

Златовратский вспоминал: «Вплоть до отправления его в клинику он работал, уже кашля кровью, над своим очерком „Всеядные“, оставшимся немного неоконченным... Можете себе представить, каково было его положение и наше удивление, когда этот труд, писанный при таких возмутительных условиях, на который возлагалась надежда на приобретение лекарств и перемену квартиры, — потерпел крушение: издатель, в журнале которого было начато печатание этого

очерка, заявил письменно, что продолжение этого труда по каким-то причинам не будет напечатано! Александр Иванович не выдержал и тотчас же, накинув свой плед, поехал к издателю... На дворе был мороз, вьюга... Он вернулся разбитый вконец, уничтоженный последним ударом злой судьбы, которая так неустанно преследовала его и так верно поразила в заключение...» (Н. Златовратский. Воспоминания. М., ГИХЛ, 1956, с. 302).

[^^^]

«...под сенью струй» – ставшее ходким выражение Хлестакова из «Ревизора» Н. В. Гоголя.

[^^^]

3

Панье (от франц. *panie*) – фижмы.

[^^^]

4

Агаряне – здесь: нехристи.

[^^^]

«Пей под ножом Прокопа Ляпунова» – реплика из драмы И. В. Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский».

[^^^]

6

Шамбр-гарни (от франц. *chambres-garnies*) –
меблированные комнаты.

[^^^]

...обратилась затем ко мне кума. – Здесь у Левитова описка (вместо «...к Петру Петровичу»), свидетельствующая о психологической автобиографичности очерка и лирической сущности главного героя.

[^^^]